

Новый Журнал

THE
NEW REVIEW



Основатель М. ЦЕТЛИН

Тринадцатый год издания

Кн.
XXXVI
1954

ЧЕХОВ

ПЕРВЫЙ ГОД МЕЛИХОВА

Еще когда жил дачником у Линтваревых, собирался Чехов купить имение. Чрез приятеля своего Смагина пробовал даже — тогда ему хотелось на Украине. Но не удалось. Всё-таки мысль и желание сидели прочно, и под всеми его душевными колебаниями, поисками пути и сомнениями это оставалось неизменным. Вероятно, с годами даже росло. Хотелось оседлости, устойчивости — чтобы вокруг было «свое». Может быть, говорил тут и голос крестьянских предков: в Чехове сидел хозяин и устроитель. Доселе проявляться этому было негде.

Весной 1892 года он купил, наконец, у художника Сорохтина небольшое имение Мелихово, в нескольких верстах от станции Лопасня Московско-Курской жел. дороги — сама же Лопасня в семидесяти верстах от Москвы. Так что всё это подмосковный мир, и само Мелихово можно бы назвать, по старинному, подмосковной Чехова. Но подмосковные барских времен совсем иные. Ни дворцов с двусветными залами, ни оранжерей, ни парков в Мелихове не было. Тут скорее воскресил Чехов пионерство предков своих из Воронежской губернии, осевших на первобытной земле.

В Мелихове жили и до Чехова. Был там дом, что-то вроде парка (очень «вроде»). Собственно, пришлось всё переделывать заново. Думаю, Чехову это как раз и нравилось.

Переехали всей семьей — Павел Егорыч, Евгения Яковлевна, сестра Маша и сам Антон Павлович (братья Александр, Иван и Михаил жили уже самостоятельно). По чеховской хозяйственности все занялись кто чем мог. Дом начали перестраивать, чистить, оклеивать заново, кухню поставили отдельно, сад привели в порядок — всё было заброшено. Теперь попало в домовитые руки.

Мы печатаем отрывок из готовящейся к печати книги Б. К. Зайцева «Чехов». — *Ред.*

Работали все: Мария Павловна, двадцативосьмилетняя девушка, занимавшаяся живописью и зимой преподававшая в гимназии Ржевской, теперь с утра надевала сапоги, целый день пропадала то в поле, то на гумне, то на огороде — чтобы не слишком утомлялся брат. Она его обожала. Некогда он на своих плечах выносил ее обучение, теперь она отдавала ему свои силы и жизнь (да так и отдала: замуж не вышла, чтобы за ним ходить. Считала, что навсегда останется он холостым). Павел Егорыч трудился в саду, Антон Павлович там же, Евгения Яковлевна по кухонной части и на огороде. Были, конечно, и кухарка, и два работника.

Дом одноэтажный, но поместительный. Впечатление у гостей, довольно скоро появившихся тут, получалось такое, будто Чеховы спокон века и жили здесь: настолько быстро освоили дом, внесли свое.

Лучшая комната, большая, с венецианскими окнами, камином и большим турецким диваном — кабинет Антона Павловича. У Марии Павловны девическая белая. Цветы, узенькая безупречная кровать, на стене большой портрет брата. У Евгении Яковлевны огромный шкаф и сундук со всяким добром, швейная машина. А у Павла Егорыча скорее келья или молельная. Образа, божественные книги, лампадки. Днем работал он в саду, вечером вычитывал вечерни, всенощную, напевал псалмы.

В усадьбе Мелихова ничего ни замечательного, ни просто располагающего не было. В той местности, и в недалеком Каширском уезде (уже Тульской губернии), мог Антон Павлович найти гораздо более привлекательное, особенно по Оке. Но он купил сразу, вовсе и не выбирая. Однако, ему в деревне понравилось, с той весны 92 года, когда он туда переехал. Изменилось даже душевное настроение. Он лучше себя здесь чувствовал. Да и сама русская весна... «В природе происходит нечто изумительное, трогательное». «Настроение покойное созерцательное». «Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так

хорошо, что я суеверно осаживаю себя» — такие строки очень редки в письмах Чехова, а вот весна в неказистом Мелихове отозвалось в нём так. Это правильно. Он свою родину и природу ее верно чувствовал.

Но представить себе его бездеятельным, просто вздыхающим в весенней благодати барином нельзя никак. Весна весной, хозяйство хозяйством, всё-таки он прежде всего писатель. Среди всех этих скворцов и весенних зорь, и первых подснежников, и зеленей, и ощущений рая, он написал один из самых страшных своих рассказов «Палата № 6» — вот это уж противоположность богимовской «Дуэли»! Но Чехов вообще разнообразен и сложен. Почему в тишине мелиховской весны потянуло его написать повесть о сумасшедших, засасывающих в свой мир здорового, их же лечившего доктора — неведомо. Что-то пронзало его. Неизжитый след «Скучной истории». Здоровые, больные — всё призрак, всё иллюзия. Цена как будто бы одна.

Если б спросить его самого, он ответил бы, вероятно: «написал и написал. Деньги были нужны». Он терпеть не мог поэтических поз, «служения музам», «святому искусству» и тут даже перебарщивал. Прочсть его письма, можно подумать, что говорится о газетном сотруднике средней руки Краснухи-не, который «насобачился». Но Чехов во всём особенный человек, и на других писателей не весьма похож. (Кто, кроме него, например, мог написать строгое письмо редактору журнала за то, что тот в извещении об участии Чехова объявил его «высокоталантливым», а название рассказа напечатал «буквами вывесочного размера» — это произвело на автора «самое неприятное впечатление». Он не против рекламы, но считает, что «для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую верную рекламу»).

Пасху встречали уже у себя, в устроенном доме. В селе Мелихове, совсем рядом с усадьбой, церковь была, но без причта. Для пасхальной заутрени сложились — вся деревня,

Чеховы тоже, конечно. Пригласили из соседней Давыдовой пустыни служить иеромонаха. Пела вся семья Чеховых, Антон Павлович тоже. Детское свое певчество как раз вспоминал он в Мелихове — и не по хорошему — но от красоты и поэзии самого богослужения всё-таки не мог отказаться. «Пасхальную утреню пели мы, т. е. моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно».

В том же письме пишет он о скворцах. Их там много. «А скворец может с полным правом сказать про себя: пою Богу моему, дондеже есмь. Он поет целый день, не переставая».



У человека моего поколения — если детство его прошло в деревне — остались в памяти разговоры взрослых о голоде (начало 90-х гг.). Знакомые барышни, студенты собирались куда-то «на голод». Доктора рассуждали с родителями о каких-то «земствах», имя Толстого произносилось с великим почтением, он тоже куда-то призывал, к кому-то взывал. Голод, голод! Это казалось жутким.

Чехов, после спокойного лета в Богимове, осенью 1891 г. в дела голода вошел основательно.

Вместо с давним своим приятелем Егоровым — тот служил теперь земским начальником в Нижегородской губернии — придумал он особую форму помощи. Мысль такая: осенью крестьяне из-за нужды и неурожая продают лошадей за бесценок. Настанет весна, пахать под яровое будет не на чем, значит и не посеют. Если же осенью заняться покупкой лошадей, то весной можно будет раздавать их безлошадным.

Кроме литературы (он написал тогда «Попрыгунью», рассказ, доставивший ему большие неприятности), осень 1891 г. идет у Чехова под знаком сбора средств на этих лошадей.

Вместе с Сувориным и «Русскими Ведомостями» он устроил сборник в пользу голодающих, собирал деньги и сам

писал о голоде — всё им лично собранное посылалось Егорову. Тот и покупал лошадей, а Чехов так всем этим увлекся, что в январе 92 года съездил даже к нему в Нижегородскую губернию — в лютые морозы, едва не погиб вечером в метели. Конечно, опять подпортил здоровье, как и на Сахалине, но видимо, удержать его и теперь было нельзя, как и тогда. Сахалин сидел в нем и подгонял. Он и не думал ни о чем. Его вели. Это была его судьба.

В декабрьских и январьских письмах просто, скромно говорится «посылаю Вам 116 руб.», или «17 руб.», а потом досылает еще какие-то рубли. Будто и немного, но со всем этим надо возиться, обо всём заботиться. Какие-то там нижегородские безлошадные. Ужасно интересно по морозу ехать Бог знает куда, проверять на месте, как идут дела с лошадьми, везти Егорову еще несколько сот рублей, собранных по грошам. Потом махнуть в Воронеж. Там тоже знакомые и тоже закупка лошадей, но по другому устроено — занимается этим губернатор Куровский («интеллигентный и искренний человек», «работает много»).

Кажется, в Нижегородской губернии дело с лошадьми не весьма преуспело — цены на них сразу поднялись из-за усиленных закупок. Но не это важно. Много ли или немного сделал Чехов с Егоровым, во всяком случае для пути Чехова голод 91-92 гг. оказался важен, усилил в нём линию Сахалина. Тревога вечных вопросов — зачем я живу? Для чего пишу? Каков взгляд мой на мир? — это осталось, и двойственность прежняя. Но тут-то вот, рядом, есть несомненное — как говорит Западное христианство: «Dieu dans ses pauvres». «Les pauvres» вокруг, от них не уйдешь, они прочно пристроились.

И когда Чехов отдает себя и силы свои Богу «в Его бедных», как на Сахалине отдавал Ему же «в Его погибших», это удается ему! Это выходит хорошо.

Вот он теперь, весной 92-го года купил Мелихово и поселился там. Это оказалось не случайно. Чудесная весна, чувствует он себя, наконец, оседло, сам себе хозяин, будто даже

помещик, но именно тут он и водружен со всею своей «фамилией», в самую глубину народа. В трехстах шагах от мелиховского балкона начиналась уже деревня.

Чехов будто бы возвращался к предкам, ко всем этим Евстратиям и Михаилам, и Егорам... — Ждал он в Мелихове жизни старосветских помещиков? Желаний не перелетающих за частокол? Благодушия, рыжиков, пирогов, уток, гусей? На него не похоже. Да и времена не те.

Тишины, спокойствия ему, конечно, хотелось, и в своём гнезде оказаться тоже хотелось. Ни о каких «служениях народу», ни о чём торжественном он не помышлял, перебираясь сюда. Но... — «зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».

Получилось не совсем так, как предполагал он, но в своём роде замечательно.

Отдыхать, наслаждаясь весной, спокойствием, оседлостью и простором, пришлось недолго. Летом 92 года вместе с голодом явилась холера — бок о бок они и шли, как полагается в дьявольских выступлениях.

На этот раз дело для Чехова касалось не лошадей. «По случаю холеры, которая еще не дошла до нас, я приглашен в санитарные врачи от земства, дан мне участок и я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. О литературной работе и подумать некогда» (13 июля). Дальше всё в том же роде. Ему дали для надзора 23 деревни, а позже, повидимому, 25. Нет у него ни одной копейки, ни одного фельдшера — это волнует и раздражает, но и страшно возбуждает. Всё лето и осень огромная работа, непрерывные разъезды. Холеры в участке еще нет, но она надвигается отовсюду, идет и с севера, и с Оки, и вот она уже в Москве.

Он живет как бы в осажденной крепости, укрепляет ее не покладая рук. «У меня на 25 деревень одна кружка, ни одного термометра и только полфунта карболовой кислоты».

Опять, если его послушать, неизвестно зачем он всё это

делает. «Скучно». «Думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь...»

Но зачем же тогда служить? От вознаграждения он отказался, между тем сам в долгах по имению и из гонораров ему вычитывают в погашение долга... а вот не может успокоиться, благодушествовать в удобном доме, всё куда-то едет, учит мужиков гигиене, объезжает помещиков и фабрикантов, собирая на борьбу с холерой. «Оказался я превосходным нищим» — набирал очень удачно и теперь у него «два превосходных барака со всей обстановкой и барачков пять не превосходных, а прескверных». И тут же рядом: «пребываю без гроша».

Превосходному нищему приходилось иногда и туго. Кого-кого не перевидал он за эти свои странствия! Был, например, у соседки графини Орловой-Давыдовой, хотел устроить барак для ее рабочих. Она «держала себя со мной так, как будто я пришел к ней наниматься». Или архимандрит, отказавшийся дать помещение для будущих больных. Этот дал повод Чехову прибавить в конце письма, после барынь в бриллиантах и благолепно-равнодушного архимандрита, две строчки:

«У меня часто бывает и подолгу сидит поп, прекрасный парень, вдовец, имеющий незаконных детей».

В такие и подобные им странствия уходят корни рассказа «Жена», где как раз в лихорадку борьбы с голодом вовлекают холодного, богатого инженера, пишущего у себя в имении учное сочинение о железных дорогах. Все эти врачи, дамы, действующие там — это тоже окружение Антона Павловича Чехова. «Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь...»

Может быть, из-за принятых мер холера до его участка и не дошла. Была в тридцати верстах, но встретиться с ней не довелось. С эпидемиями же тифа, дифтерита, скарлатины при

ходило много бороться. С августа по 15 октября он записал 500 больных, а в действительности принял не меньше тысячи. В октябре Серпуховское земство постановило благодарить его — чеховский участок оказался особенно удачным и почти ничего не стоил земству — Чехов обирал соседей фабрикантов, «которые и отдувались за земство».

В начале октября холера уже удалялась, но он не мог еще бросить своего участка, на день-два съездить в Москву. И только со второй половины месяца жизнь его налаживается. Иной оттенок появляется и в письмах — больше направлено на себя и на семью. Сестра Мария Павловна отказала жениху. «Ничего не понимаю». Со слов близких к семье Чеховых известно теперь, что она именно из-за брата и не хотела выходить замуж.

А о себе, всё тому же Суворину, Антон Павлович пишет: «Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви».

После летнего подъема как будто вообще усталость. Но появляются литературные интересы — прелестно отвечает он брату на сообщение о Дании: «Весьма утешительно, что меня перевели на датский язык. Теперь я спокоен за Данию».

А за себя как писателя не так уж спокоен. В невеселой русской осени, в деревне, много размышляет о писании своем — вновь всё-таки возвращается к настроениям «Скучной истории». Нет «общих идей». Писатели вечные или просто хорошие всегда «куда-то идут и вас зовут туда же и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель»... «У одних... цели ближайшие — крепостное право, освобождение родины, политика, красота, или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — Бог, загробная жизнь, счастье человечества». «Вы, кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет». А вот «у нас», современных писателей, ничего этого нет. «Кто

ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником».

Давняя тоска Чехова по Божеству. О. Христофор *знал* нечто *всем существом*, чего нехватало Чехову. Оттого и был всегда ясен, светел. Богу «в Его отверженных» Чехов служил усердно, не хуже о. Христофора, а может быть, лучше. Но внутренней цельности в нём не было. Не цельность, а именно раздвоение, отсюда непрочность и тоска — продолжается это до конца дней, какими бы мечтаниями о том, что будет «через двести, триста лет» ни опьяняли себя герои более поздней полосы его писания.

**
*

Год в Мелихове кончался. Для деревенской жизни в Чехове было нечто подходящее. Нельзя сказать, чтобы на новом месте он скучал, даже когда медицинская страда отошла. «Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень» — всё это очень занимает. Но другой, всегдашний, меланхолический Чехов тут же рядом. «Жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто-бы надоело». (Ему тридцать два года!).

Очень видишь Чехова, вот он сидит за воротами на лавочке и глядит в бурое поле, раздумывает «о том, о сём» — таким помнится он позже в Ялте, тоже на скамеечке и тоже в одиночестве, только не перед бурым полем, а перед ночным морем.

Зима довольно рано началась в 1892 г. — во второй половине октября. «Сегодня я гулял в поле по снегу, кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне». И хотя сажал вишни и яблони, и чувствовал себя собственником и с корнями, а всё же — и как подходит это для русского человека в деревне! — захотелось ему и вдаль. «Будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Париж». В бурых полях или полях снежных, где чувствуешь себя, как на луне, многие мечтали об Италии.

ЛИКА, «ЧАЙКА»

Лидия Стахиевна Мизинова, подруга Марии Павловны, появляется в доме Чеховых в начале девяностых годов. Очень красивая, полная девушка с пепельными, вьющимися волосами, прекрасными серыми глазами. Видимо, живого и веселого нрава, но с перебоями, с большой нервностью, большим требованием к жизни.

В дружеском кругу ее звали Ликой. Она служила в Москве в Городской Думе, училась драматическому искусству, одно время была младшей преподавательницей в гимназии Ржевской — отсюда и знакомство ее с Марией Павловной. Пела, вообще обладала артистической жилкой. В Москве у нее было много знакомых в кругу литературно-художественном, среди них Чехов и Левитан. Обоим им она нравилась, да и у других имела успех.

Нет сомнения: в ней было много привлекательного. И в красоте ее, и в своеобразии, порывистости, даровитости. В семье Чеховых ее любили. Можно думать, что положение ее было вроде родственного. Перемены в жизни семьи отражались и на ней. Снимали дачу в Богимове, она туда приезжает. Явилось Мелихово, она и с ним оказалась связана довольно прочно.

Дружески-сочувственные ее отношения с Чеховым начались еще с Богимова. Он, конечно, ее отметил. Но письма его к ней 91 года незначительны, полны остроумия, поддразниваний, нельзя сказать, чтобы всегда удачных. В Мелихове впервые она появилась весной 92-го года, а затем в июне. Началось более серьезное с Чеховым, хотя тоже среди балагурства.

Сохранилась фотография: Лика и Чехов на скамейке — не то в парке, не то в запущенном саду с высокой травой и цветами, огромными деревьями в глубине. Холера еще далеко, Чехов свободен, очевидно, много они были вместе, («Помните как мы рано утром гуляли по полю?»), бродили по скромным окрестностям Мелихова, конечно, Чехов острил, дразнил ее, всё-таки взаимное тяготение росло, это бесспорно. Что именно

и как — неведомо, но вот они собрались даже ехать вместе на Кавказ: шаг довольно смелый, Лике было всего двадцать два года. Уезжая в Москву, она должна была там заказать билеты для обоих.

Как именно они прощались, неизвестно. Вскоре по ее отъезде Чехов получил от нее письмо — несколько строк его говорят о давних, таких человеческих чувствах тех, кого уже нет, как нет в живых никого из бывших тогда в Мелихове — да и самого Мелихова нет.

Вот что писала Лика: «Отбрасывая всякое ложное самолюбие в сторону, скажу, что мне очень грустно и очень хочется видеть вас. Грустно мне еще потому, Антон Павлович, что вас, должно быть удивило и не понравилось мое поведение вечером накануне моего отъезда. Сознаюсь, что вела себя чересчур уж девченкой. В самом деле смешно — забыться настолько, что не понять шутки и принять ее всерьез. Ну, да вы, верно, не будете очень обвинять меня в этом, потому что верю, давно были уверены, что всё так и есть».

Похоже на то, что расставаясь она сгоряча слишком много сказала о себе, своем чувстве, под впечатлением его слов, в которых не сразу уловила шутливость. Но Чехов всегда почти говорил так: вот и теперь установить в его письмах долю правды и маски не весьма легко. Видимо, вернувшись домой, Лика впала в некоторое уныние.

Чехов начал свое ответное письмо так: «Милая канталупочка, напишите, чтобы впредь до прекращения холеры на Кавказе не хлопотали насчет билетов. Не хочется сидеть в карантинах». Предлог, вероятно, выдуманный: о карантинах и о холере он знал, разумеется, когда собирался с ней ехать. Наверно, просто раздумал («здравый смысл» — нельзя заходить слишком далеко). «Ликуся, вместо того, чтобы ныть и тоном гувернантки отчитывать меня и себя за дурное (?) поведение, вы бы лучше написали мне, как вы живете, что делаете, и вообще как ваши дела. Ухаживают ли за вами ржевские драгуны? Я разрешаю вам эти ухаживания, но с условием, что вы,

дуся, приедете не позже конца июля. Слышите ли? Не позже конца июля, иначе будете биты палкой».

Следующее его письмо помечено концом июня и несколько иного тона, говорит и о его неустойчивом равновесии: ... «и в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже забросили мне на шею». «Не забывайте победенного вами

Царя Мидийского».

У Лики оказалось гораздо больше проницательности и знания жизни, чем можно было бы ожидать от девушки ее возраста. Она правильно оценила положение и не поддалась двум-трем ласковым фразам. Вот ее ответ: «А как бы я хотела (если б могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!».

Лика хорошо Чехова поняла. Она ему очень нравилась, но не достаточно для решительного шага. Да и не был еще он готов, чтобы отдаваться целиком во власть женщины. Слишком был художник, живший писанием своим, слишком дорожил свободой и слишком был подвержен рассеянному эросу, легко, но неглубоко отзываясь на женственное.

И вышло так, как надо было в судьбах их: всё это не вело к перелому, но для него стало прологом, еще отдаленным по времени, к дальнейшему, к важнейшему его писанию. А для нее прологом к настоящему действию.

Проходит лето, занятое для Чехова холерой. Они обмениваются по временам письмами. Нельзя сказать, чтобы оба были довольны. Как будто осталась и у него и у ней некоторая заноза. Она его слегка язвит, он отстреливается, опять шуточки, опять тон, который мог ее и раздражать, хотя чувствовалась за ним и некая его уязвленность: в конце концов, у него тоже, ведь, ничего не вышло. Вот он пишет ей из Петербурга в декабре 92 года: «Ликуся, если вы в самом деле приедете в Пе-

тербург, то непременно дайте мне знать. Дела службы, которые вы ехидно подчеркиваете, не помешают мне провести с вами несколько мгновений, если вы, конечно, подарите мне их. Я уж не смею рассчитывать на час, на два, на целый вечер. У вас завелась новая компания, новые симпатии, и если вы уделите старому, надоевшему вздыхателю два-три мгновения, то и за то спасибо». Но в конце письма опять задирает — вырезка из газеты о желании вступить в брак, с блондинкой живой, веселой и т. п. «Вы вполне подходите под условия».

В том же духе продолжается и в 93-м году — они встречаются в Москве, когда он там бывает, приезжает и Лика в Мелихово, вновь письма и нередко она корит его — с прямою и смелостью, не совсем обычными для молодой девушки по отношению к известному писателю (его именем назван даже пароход на Волге — «Антон Чехов»). Да он и много старше ее. Но ее это не останавливает. «Милая Лика, вы выудили из словаря иностранных слов слово эгоизм и угощаете меня им в каждом письме. Назовите этим словом вашу собачку». Задевает она даже его писание («писанье в свое удовольствие» — почти дерзко).

Но вот в одном месте он проговаривается. Что-то весьма «чеховское», чем наделяет он обитателей своих книг, вдруг применено к нему самому — и так мало похоже это на Чехова времен Бабкина, даже Линтваревых. От прежнего жизнелюбия мало что и осталось, действительно «Сахалин» — некий порог. «Я тоже старик». «Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик». И дальше: «Лика, если вы влюбились в кого-нибудь, а меня уже забыли, то по крайней мере не смейтесь надо мной».



Игнатий Николаевич Потапенко, беллетрист малороссийского происхождения, живой и расторопный, даровитый, весьма удачливый, хорошо зарабатывал, много писал. Одно время

имя его, совсем незаконно, ставилось рядом с Чеховым. Люди моего поколения помнят, сквозь туман юности, повесть его «Шестеро» — из жизни сельского духовенства (Потапенко был сын священника). «На действительной службе», «идейная» вещь, принесла ему почти славу.

Он довольно приятно пел, был общителен, обладал привлекательностью. Мог писать в день по печатному листу «без помарки», чем вызывал удивление Чехова (Чехов зрелой полосу писал трудно и тщательно, иногда сжимал полстраницы в одну фразу).

К Чехову Потапенко хорошо относился. Написал о нём воспоминания очень сочувственные и правдивые. Судьбы же писаний их оказались совсем различны — иначе и не могло быть: Слишком разные данные и слишком разное отношение к своему дару.

Познакомился Потапенко с Чеховым в Одессе, в конце 80-х гг. Встреча была беглая. Чехову он показался очень скучным — неизвестно почему. Этим и объясняется, что в письме к Лике (июль 93 г.) Чехов говорит: «Ко мне приедет Потапенко. Сама скука».

Он и приехал. И оказалось, что вовсе не скучен, совсем нет. «Потапенко произвел хорошее впечатление. Очень мило поет».

В декабре того же года он снова в Мелихове. «Сейчас приехали Потапенко и Лика. Потапенко уже поет».

На этот раз он оказался даже весьма весел и певуч. Лика аккомпанировала, а он под аккомпанимент этот запевал девичье сердце. Заговаривал, конечно, и «жалкими словами», действовала и горячая кровь хохлацкая, темперамент, прямолинейность. Те святки в Мелихове оказались для Лики роковыми. Потапенко ясно знал, чего хотел. Не дразнил, не острил и на месте не топтался. Да весьма возможно, что и сам влюбился: он был влюбчив, а Лика привлекательна.

В начале 94-го года он уехал в Париж. Лика и подруга ее Варя Эберле тою же весной тоже решили ехать в Париж «учиться пению».

Чехов в январе чувствовал себя в Мелихове неважно: кашель его усилился. Вероятно, из-за нездоровья и чтобы перебить настроение уехал в начале марта в Ялту.

Там поселился в гостинице «Россия», вел жизнь тихую и довольно скучную, хотя ялтинский март оказался совсем теплым, светлым, всё в зелени. Белые коридоры «России», мягкие красные ковры, по которым бесшумно проходят — то официант, несущий на серебряном подносе кофе Антону Чехову, то дама с собачкой, то болезненного вида господин, приехавший лечиться. Из окна, в сиреневом тумане, видна гора, к ней подъем в беленьких дачках и домиках.

В этой тишине в номере гостиницы «Россия» с бархатной зеленой мебелью, написал он прелестный рассказик «Студент» (в пятницу на Страстной студент Духовной Академии рассказывает бабам, у костра, что происходило две тысячи лет тому назад в этот вечер в Иерусалиме, во дворе Первосвященника — отречение Петра, петух «трици» возглашающий, слезы Апостола...).

Позже сам говорил, что это любимая его вещь — в ней сказано и нечто самое его затаенное, драгоценное, чего не найдешь в письмах (в них иной раз противоположное, но это на словах, для «разума»). Когда простые бабы, слушая рассказ о Спасителе и апостоле Петре, заплакали, то с ними плакало и сердце самого Чехова — этой весной 94 года ему открылось (явно), что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле» Христова правда составляла главное! — это мало подходило к духу времени. «Студент» был напечатан 16-го апреля 1894 года в «Русских Ведомостях», либеральной газете нашего детства — по ней мы учились читать. Вероятно, с недоумением читали этот рассказ интеллигенты с бородками клинушкой, честные курсистки и благородные статистики в земствах матушки России.

А сам автор не совсем покойно себя чувствовал. Отъезд Лики вряд-ли ему нравился. Может быть, еще меньше нравилось, что совпадал он с отъездом Потапенки. Правда, Потапенко уехал будто бы «в Италию», но Чехов знал его уже достаточно — с этой именно стороны.

В конце марта, на Страстной, пишет он из Ялты Суворину: «Будь у меня тысяча или полторы, я бы в Париж поехал, и это было бы хорошо по многим причинам».

Суворин не знал, по каким именно. Мы знаем несколько больше и можем догадываться.

Лика была в это время еще в Берлине — остановилась там по дороге в Париж. 15-м марта помечено ее письмо Чехову в Ялту. Оно отражает нервность ее и жажду жизни. «Хочется поскорей добраться до места и хочется также и Берлин посмотреть, ведь я скоро умру и ничего не увижу».

Он так ответил: «Милая Лика, спасибо Вам за письмо. Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрете, хотя и дразните, что отвергнуты мной, но всё-таки спасибо. Я отлично знаю, что Вы не умрете и что никто Вас не отвергал». Дальше идут, разумеется, шуточки («Мой идеал: быть праздным и любить полную девушку»). Но общий тон ласковый (хотя и сдержанно), может быть и с оттенком грусти. Как и веселиться, при этом, когда мучают перебои сердца и надо писать, писать... Он устал. «Милая Лика, когда из Вас выйдет большая певица...» — начало фразы будто Треплев обращается к «Чайке» — а дальше во всегдашнем роде: «... и Вам дадут хорошее жалованье, то подайте мне милостыню: жените меня на себе и кормите меня на свой счет, чтобы я мог ничего не делать».

В апреле он возвратился в Мелихово и просидел там лето. Только в августе отправился в путешествие по Волге, вместе с Потапенкой, возвратившимся из Парижа. Путешествие вышло странное: до Царицына, как думали, не доехали. В Нижнем на Чехова напала тоска. Было жарко, сухой ветер, ярмарка гремела, появился Сергеенко («друг Толстого»),

нагонявший на Чехова всегда уныние — ...«я взял свой чемодан и позорно бежал... на вокзал. За мной Потапенко». Решили отправиться к Линтваревым, на Псел, на Луку. Там гостили некоторое время.

Вообще же Чехов всю эту осень как-то метался. О Лике не знал ничего. А повидимому Потапенко, разъезжавший теперь с ним, именно перед отъездом из Парижа Лику и бросил, после краткой с ней связи. Этого Чехову, конечно, не рассказал.

От Линтваревых Чехов вернулся опять в Мелихово, но не надолго. В Таганроге тяжело болел дядя его, тот заросший бородой, простодушный Митрофан Егорыч, который на семейной группе изображен во всем своем таганрогском великолепии, с торжественной манишкой, выпирающей на груди колесом, во всем благодущии старой России. Антон Павлович с ранних лет любил его, письма к нему полны почтительности, в них есть трогательный оттенок — тут он даже шутить не позволяет себе. Любил и сына его, своего двоюродного брата Георгия (странным образом письма к Георгию даже ласковей и во всяком случае интересней писем к сестре Марии Павловне, поражающих сухостью).

Когда Митрофан Егорыч в Таганроге заболел, Антон Павлович не мог уж усидеть дома, отправился лечить его: вернее, проститься с тем, кто в его детстве, рядом с суровостью Павла Егорыча, являл облик доброты и утешения. В живых его застал (но не надолго).

Из Таганрога поехал в Феодосию к всегдашнему своему Суворину. Там выяснилось, что денежные его дела гораздо лучше, чем он думал — книги продавались хорошо. Это давало бóльшую свободу. Он съездил на Новый Афон, потом морем отправился в Ялту. В это время скончался Митрофан Егорыч. С парохода пишет Антон Павлович Георгию: «Милый Жорж... не стану утешать тебя, потому что мне самому тяжело. Я любил покойного дядю всей душой и уважал его».

Сам он находится в некотором смятении и не знает, что

с собой делать. Плывет в Ялту, а может быть окажется заграницей. Так и вышло, а пока что попал в Одессу. Но заграницу, вероятно, влекло и нечто другое.

Здоровье его неважно. Однако, если лечиться и укрепляться надо подолгу жить в одном месте, на спокойном курорте. А у него здесь сплошное бродяжничество. 18 сентября он уже в Вене, собирается в Аббацию. «Вы упорно не отвечаете мне на письма, милая Лика, но я всё-таки надоедаю Вам и навязываюсь со своими письмами». «Потапенко говорил мне как-то, что Вы и Варя Эберле будете в Швейцарии». Если это верно, то пусть напишет, он повидался бы с ней «разумеется с восторгом». «Умоляю Вас, не пишите никому в Россию, что я заграницей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я в Феодосии».

Очень странное письмо, в нем есть нечто нервно-горестное. Его последние строки: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я и здоровье прозевал так же, как Вас».

В Аббации он пробыл недолго, попал вновь в Италию, побывал в Венеции, Милане и проехал на французскую Ривьеру, в Ниццу.

Недоразумение с письмами Лики разрешилось в Ницце: она письма писала, но они путешествовали за ним следом и нагнали только здесь. Тон их печальный и подавленный — она одинока и ей тяжело. Сообщает швейцарский свой адрес. Если бы он приехал, была бы счастлива, «но предупреждаю, ничему не удивляться». Была ли уже заметна ее беременность, или она говорила «вообще»?

«Ваша карточка из Таганрога повеяла на меня холодом». (Чехов мог иногда писать очень сухо именно тем, кого любил). «Видно, уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Почему-то всё-таки мне хочется сегодня поговорить с Вами. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось

и следа и, как я думаю, всё-таки не могу не сказать, что виной всему Вы».

В переводе на русский язык выходит: если бы Вы были решительней, если б уехали мы тогда вместе на Кавказ и соединили наши жизни, то не было бы этого случайного Потапенки, короткой, тяжелой истории наполовину назло Вам... и т. д.

В письме от 3-го октября повторяет — пусть ничему не удивляется. «Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте. От нее не осталось и помину. Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь. Впрочем, я не думаю, чтобы Вы бросили в меня камень. Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям».

Это задело Чехова. («О моем равнодушии к людям Вы могли бы не писать»). Очень молодая и уже много пережившая Лика в чем-то, однако, была права, только не так выразилась. Вернее бы сказать о снисходительности. Чехов никак не становился в позу праведника. Фарисейское ему глубоко чуждо. Сам он был человек грешный, как и все, и признавал это, и это давало тон его отношению к другим. У него (в письмах) есть замечательная строчка о страдании от греха — ее мог написать только тот, кто на себе испытал, что такое грех (и как слаб пред ним человек). Но никогда грешника он не карал: это Лика тоже чувствовала.

«Равнодушие» к людям... — странно говорить так о человеке, ездившем на Сахалин, губившем там здоровье, губившем его и в борьбе с голодом, холерой у себя же в Мелихове. Но в следующем письме Лика возвращается к этому, в несколько ином повороте. «Я хочу видеть только Вас — потому что Вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие».

Они всё-таки не встретились. Он мог бы из Австрии приехать в Ниццу через Швейцарию, но теперь его связывал Суворин, «тащить» его в Швейцарию было неудобно.

Родным он в конце концов сознался, что находится за границей. Пишет Маше из Ниццы, 2 октября: «Рассчитывал повидаться в Париже с Ликой, но оказывается, что она в Швейцарии, туда же мне не рука. Да и надоело уже ездить».

Если бы Лика видела эту строчку, опять сказала бы о равнодушии. Конечно, кому очень хочется видеть, тот поедет. Но возможно, что ему даже тяжело было теперь встретить ее. Он уже всё знал. Всё было и кончено. О Потапенке сказано в том же письме Маше кратко, но довольно ясно: «свинья».



В декабре 94 года Лика была уже в Париже, снова. Чехов — в своем Мелихове.

Писателем он никогда не переставал быть, это всегда на первом месте. Несмотря на все бродяжничества этой осени на некоторую и смятенность, он успел написать «Три года», большую повесть. В ее ровном спокойном течении как бы отражена некая «река времен» — люди, их чувства, судьбы сплетаются и проходят по неведомым, но печальным законам. Вот любил Лаптев, сын богатого московского купца, барышню Юлию Сергеевну, добивался ее, женился наконец. Она к нему равнодушна. Его мучит, что быть может она вышла за него из-за денег. Но идет время, и как облака принимают то те, то другие формы, переходят одни в другие, расплываются, новые возникают неизвестно зачем, так в жизненном движении неплохих и неярких людей всё понемногу меняется. Проходит три года. Лаптев остывает к Юлии, она привязывается к нему — да просто она теперь его любит. А ему казалось, что он «женат на ней уже лет десять».

— «Поживем — увидим».

Был ли в повести этой (написанной в форме хроники, внешне недраматичной) — отголосок тогдашних его чувств? Если да, то весьма отдаленный. Всё же возможно, что перемены чувств и его, и Лики, перемена всего положения, как в

калейдоскопе игра фантастически-разноцветных кусочков, отразилась в «Трех годах», произведении будто и не-выигрышном, но написанном с той простотой, уверенностью зрелого художника, что и ставит эту вещь в первый ряд Чеховских писаний.

В декабре 94 года, как раз когда читал в Мелихове корректуру этой повести, получил от Лики из Парижа очень грустное письмо. Маше в Москву он сообщает о нем холодно-новато. («Пишет, что учится петь, учится массажу и английскому языку. Пишет, что ей хотелось бы посидеть на моем диване хоть несколько минут»).

Всё это у Лики сказано иначе: «Вот уже скоро два месяца, как я в Париже, а от Вас ни слуху. Неужели и вы тоже отвернулись от меня? Скучно, грустно, скверно. Париж еще больше располагает ко всему этому! Сыро, холодно, чуждо! Без вас я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой! Кажется отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами десять минут, поужинать...»

Хочется, чтобы и года этого не было, чтобы «всё осталось по старому». Перемены, конечно, огромные. «Свинья» Потапенко бросил ее в ожидании младенца. Где и когда появился младенец? Нет известий. Во всяком случае, скоро умер. В Россию Лика вернулась одна.

Собственно здесь и кончается всё. Знакомство с Чеховым и его семьей не прервалось, шуточные записочки сохранились, но это лишь внешность. И если бы не литература, то в жизни Чехова место Лики оказалось бы скромным. Однако вся эта история в душе и искусстве Чехова как бы продолжалась — родила «Чайку» и весь чеховский театр: событие и для самого Чехова и для российской литературы немалое.

«Чайка» есть миф, корни которого в Лике, Чехове, Мелихове. Всё не то и всё выросло отсюда, кровно связано.

**
*

95-год проходил для Чехова тихо. Много он сидел в Мелихове, много писал, летом пришлось, однако, странно съездить в имение Турчаниновой, где-то в районе Бологого (Рыбинско-Бологовская ж. д.). Причины — Левитан, давний приятель времен Бабкина, с которым чуть было он не разошелся одно время, но всё-таки не разошелся. А в июле неожиданно пришла телеграмма со станции Троица: Левитан, еще в Бабкине тосковавший иногда смертельно, таким же остался и теперь. В имении Турчаниновой покушался на самоубийство, ранил себя. Чехов, «равнодушный» по мнению Лики, полетел за ним ухаживать. В этом имении, на берегу озера, прожил в сырой и болотистой местности несколько дней, как и в юности своей выхаживая Левитана. Левитан оправился. Чехов уехал. В письмах об этом говорится глухо — не очень-то хотел распространяться о деле слишком для Левитана интимном.

В общем же 95-й год оказался для Чехова годом литературы, и плодородным. Он написал замечательное «Убийство», среднюю, но весьма живую и остроумную «Ариадну», «Дом с мезанином» — отзвук давней его собственной истории («У меня когда-то была невеста... Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом я пишу»). «Дом с мезанином» трогателен, поэтичен, но конечно всё писание Чехова в этом году заслонено «Чайкой».

«Убийство» вполне совершенная вещь. И не о любви. Три остальных движутся любовью.

«Чайка» менее совершенна, чем «Убийство», но более важна. Она роковая. Она еще более часть души Чехова, да и грань его художнического развития. В «Чайке» есть и поэзия, и судьба.

Он писал ее осенью в Мелихове. «Пишу... не без удовольствия»: надо понимать, зная Чехова — просто с увлечением (но прямо этого никогда он не скажет). «Мало действия и пять пудов любви».

L'amor che muove l'sol e l'altre stelle — это в мировом, космическом плане. Но вот и микрокосм, скромное творение Антона Чехова, явившееся осенью 1895 года — оно тоже всё движется любовью. Во всех сплетениях его, жизненных положениях главное — любовь. Даже и место действия: у «колдовского» озера, где вокруг в усадьбах всегда любили, все были влюблены. (Летом, ухаживая за Левитаном, как раз сам он провел неделю на озере, надышался воздухом озерным, насмотрелся достаточно чаек).

Любовь и в этом просторном доме Сорина (а в письме из имения Турчаниновой: ...«располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера»): дела, слова, восторги и тоска любви.

Чтобы так напитать всё эросом, надо сильно быть им уязвленным. Как всегда мы и здесь слишком мало знаем о сердце Чехова — так он всё прятал — но благодаря «Чайке» можно думать, что внутреннее давление было гораздо больше, чем чувствуется это в письмах к Лике. Потому и надо считать «Чайку» роковой. Это не просто пьеса для театра, и не только часть сердечной судьбы, но и новый поворот судьбы литературной, театральной.

«Чайку» перечитываешь с волнением. Кто Чехова любит, того втягивает этот круговорот влюбленных, восторженных, страждущих и погибающих. Всё вертится вокруг только что происшедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной.

Как переживала пьесу сама Лика? Может быть, ей было нерадостно вновь видеть всё, хоть и в измененном облике. Но высокий тон изображения она должна была чувствовать.

Нина Заречная не похожа на нее по характеру. Рождена она всё-таки Ликой. Эту Лику, «думского писца» в жизни, вывела она за руку в русскую литературу. Брошенная Тригориным, потеряв ребенка, странствующей актрисой является Нина к своей ранней любви, незадачливому писателю Треплеву. Чехов дает ей такую фразу (обращено к Треплеву):

«Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Лица должна была гордиться этими словами.

Неудачники и погибающие изображены в «Чайке» с сочувствием — это вполне Чехов. Превосходно вышла актриса Аркадина, превосходны писатели: кажется единственный случай в литературе нашей. И утомленный, рыхлый профессионал, хорошо зарабатывающий, удящий рыбу, и непризнанный молодой, замученный жизнью, отвергнутый, написаны так по новому и своеобразно, что просто удивительно.

Есть и еще особенность «Чайки» — связано это с эпохой.

Девяностые годы в России не то, что восьмидесятые. Не такая уже провинция. Занавес, отделявший от Европы, кое-где прорван, в самой же Европе как раз появилось в литературе течение более духовного свойства. Ибсен, Метерлинк, французские символисты. Просочилось это и к нам. Не как простое заимствование, а как некая новая полоса духовной культуры. Ничего зря не делается. Должны были появиться и появились и у нас писатели особого склада: Мережковский и Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, «заря русского символизма».

Чехову Ибсен наверно не был близок. Одну из лучших пьес его, «Маленького Эйольфа», он называл «Иоиль младший». Читал ли даже как следует Ибсена? Сомневаюсь. (На сцене в театре Суворина мог видеть). Но Метерлинк чем-то ему понравился. Суворину он даже советовал ставить его произведения.

В «Чайке» в первом же действии, перед озером, при луне, Нина так начинает пьесу Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, утки, пауки...» — (всё вымерло, одна луна печально светит, Мировая душа декламирует и Дьявол должен явиться).

Сразу чувствуешь некий оттенок особенный. В прежних писаниях Чехова его не было. И Треплев новый человек в литературе. Реализм, бытописание ему неинтересны. Не туда клонится душа. Это Тригорин записывает каждую удачную

фразу, образ. Треплеву ближе Ибсен, Метерлинк, чем Тригорин со своей записной книжкой («плыло облако, похожее на роаяль»). Чехов же между ними посредник.

Но самое сердце пьесы, чайка, убитая от нечего делать досужим охотником, это уже не Треплев, а Чехов. И не Чехов «Иванова». Пусть будет «Иоиль младший», всё-таки «Дикую утку» написал Ибсен. На Чехова повеяло Скандинавией, что-то он взял оттуда. Можно считать, что именно эта подстреленная символическая чайка наиболее уязвима сейчас в пьесе (наиболее устарела, как и сам символизм), всё же в ней есть и прелесть, на всю «комедию» бросает она особый, незабываемый отсвет, как и удавшийся неудачник Треплев. С «Иванова» ничего не начинается. С «Чайки» начинается театр Чехова. Его можно любить или не любить, но он просто в литературе русской *есть*.

Всё складывалось, конечно, не напрасно вокруг этой пьесы. Не зря была история с Ликой, не зря все три действующие лица что-то пережили. Из этого родилась «Чайка», открывшая в России эпоху, и сама она, пьеса, как живое существо, тоже должна была перенести драму, прежде чем воскреснуть.

Весь почти 96-й год шли с ней предварительные маневры. Ее «переписывали на ремингтоне» (по тем временам целое предприятие), посылалась она на суд Суворину, был момент когда Чехов заколебался. «Пьеса моя провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать нельзя».

Но это только минутное. Пьеса пошла по мытарствам. Первое — драматическая цензура. Цензору Кондратьеву не понравилась, «что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с беллетристом». И Чехов выбросил фразу: «открыто живет с этим беллетристом», а на 5-й странице: «может любить только молодых».

В конце концов цензор не противоборствовал. Пьесу взяли в Александринский театр в Петербурге. Сохранилась

повестка для актеров на генеральную репетицию — 16-го октября 1896 г. Премьера 17-го.

Репетиции шли плохо. Чехов не советовал Марии Павловне приезжать на спектакль, но она не вытерпела и приехала, вместе с Ликой. Вместе с ней и остановилась в гостинице «Англетер». С Ликой вместе отправилась и в театр.

Надо же было придумать — ставить «Чайку» в бенефис комической старухи Левкеевой (с гостиннодворскою публикой), режиссер Евтихий Карпов, Треплева играет гладкий и вылощенный Аполлонский!

Ничего и не вышло, да и не могло выйти. С самого же начала, с пьесы Треплева перед озером, несмотря на Комиссаржевскую (Нина), начался разгром. Страшная вещь, когда в серьезных местах публика начинает смеяться. Тут она сразу рассердилась. После первого акта свист, шум, жиденькие аплодисменты. Далее шло не лучше. Мария Павловна всё же досидела до конца, и уехала к себе с Ликой в «Англетер». Было условлено, что Антон Павлович приедет к ним туда, но он не приехал. В два часа ночи Мария Павловна бросилась к Сувориным, где он остановился. Оказалось, он долго бродил по Петербургу, потом вернулся, лег, и никого не пожелал видеть, даже сестру. На другой день уехал товаро-пассажирским поездом в Мелихово. Суворину написал записку: «Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но всё же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении». Марии Павловне так: «Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня».

Этому верить, конечно, нельзя. Театральные поражения вообще слишком горьки. Здесь толпа была слишком груба, Чехов, как истинный писатель, слишком кровно был связан со своим детищем, чтобы оставаться равнодушным. Мария Павловна, так брата знавшая и любившая, полагает, что удар был жестокий. Отозвался и на здоровье. Через три месяца у него открылось легочное кровотечение.

«Антон Павлович попал в клинику Остроумова, где и

был впервые поставлен диагноз, изменивший всю нашу жизнь».

**
*

Ли́ка довольно долго еще стремилась к сцене. В конце 90-х гг. вновь была заграницей — частная опера Мамонтова направила ее туда вновь учиться, готовиться к сцене. Из этого ничего не вышло. Не удалась и драма — Ли́ка одно время входила в труппу художественного театра. В 1902 году театр она бросила, вышла замуж за Санина, тогда режиссера Художественного театра. Но и он разошелся с театром. Санины уехали за границу — он приобрел там европейское имя постановкой опер у Дягилева.

Теперь жизнь Ли́ки не имела уже к Чехову никакого отношения. Прошла главным образом заграницей.

В 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на rue Didot. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенная от общей палаты. На другой стороне палаты, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стеклянная. Там лежала на постели какая-то женщина.

— Знаете, кто это? — спросила моя знакомая.

— Нет.

— Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна.

В том же 1937 году Лидия Стахивевна и скончалась.

Борис Зайцев